

# ХЛЕБ, ВИНО И ОДИНОЧЕСТВО



АЛЕКСАНДР РЯЗАНЦЕВ  
Родился в 1998 году в Москве. Окончил РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ «ВШЭ», в настоящее время учится в аспирантуре. С 2020 по 2022 год работал обозревателем в газете «Литературная Россия». Рассказы и литературно-

критические материалы печатались в журналах «Урал» и «Традиции & Авангард», «Литературной газете», «Учительской газете», «Независимой газете — Ex Libris». Участник Форума молодых писателей «Липни» (2022). Живет в Москве. Член Союза журналистов Москвы.

I

Когда он за десять минут услышал слово «боль» в четырнадцатый раз, то не выдержал.

- Ну и долго мы еще будем это слушать? – Критик, небритый неряха в дорогих очках, со слабой надеждой взглянул на приветливую поэтессу, совмещавшую служение искусству с работой в торговой фирме.
- Должны еще... мм... четверо выступить. – Она сверилась с наручными часами. – Думаю, еще полчаса. Я выступаю третьей.
- Нда-а-а. – Критик хлопнул ладонью по столу. – Не так я себе представлял вечер пятницы.
- Ты мог сюда и не приходить, – мягко упрекнула его поэтесса.

Критик недоуменно уставился на нее.

- Не понял? Как мог не прийти?

Поэтесса почувствовала привычный щипок тепла в душе, но усилием воли заставила себя не показать критику, что ей приятно. Легонько постучала безмянным пальцем правой руки по столу. Представила, как красиво бы на нем смотрелось кольцо с небольшим изумрудиком. Ждала, когда критик сделает такой красноречивый подарок, но он что-то не торопился.

- Ну тебе же не нравится. – Поэтесса слегка провела пальцами по своим русым волосам и поправила шляпку на голове.

Критик отложил в сторону смартфон. Машинально тоже провел рукой по волосам, с вызовом посмотрел сначала на стену, затем на поэтессу.

- Да, мне не нравится. Я не люблю плохие стихи. Не люблю плохой ритм, рифмоплетство, штампы. Но твои стихи, – он слегка запнулся, – очень люблю...

Щипок тепла стал еще приятнее.

- Тогда чего ворчишь?

Критик досадливо крякнул.

- А как тут не ворчать, когда вокруг одни графоманы?!

- Даже я?

Критик покраснел.

- Ну не говори глупости! Ты профессиональный поэт, а не графоман. В отличие от этих ребят. – Он показал в сторону долговязого поэта в кожанке, парня лет сорока, читавшего немного детские стихи про любовь и яд:

*Запомни, сердце у поэта  
Безумно бьется, душу освящая,  
Но это же и яд, убивший многих,  
Течет во мне он, с дыханьем вровень,  
О, ненаглядная, я умираю!*

- Ё-ё-маё. – Критик схватился за голову, выдохнул и взглянул на поэтессу.

Та развела руками, с улыбкой покачала головой, всем своим видом как бы говоря: «Ну что тут скажешь?»

– Вот о чем я и толкую. – Критик придвинулся к ней поближе и приобнял.

Поэтесса никак ему не ответила.

Долговязый поэт в кожанке выдержал паузу, потом приложил слегка трясущуюся руку к сердцу и поклонился. Зрители, в основном очень молодые люди, даже оторвались от смартфонов, чтобы похлопать. Аплодисменты были слаженные, достаточно продолжительные, что наводило на подозрения в лучшем случае об отсутствии у зрителей вкуса, в среднем – о том, что поэт в кожанке подкупил нескольких заводил, чтобы те хлопали в нужный момент, в худшем – и о том и о другом.

– А ведь они слушают. Хотя и в экраны смотрят, – заметила поэтесса.

Критик соорудил кислую мину, будто сорвал с куста и отправил в рот ягоду клюквы.

– Да им все равно, что слушать, поэзию или матерные частушки. – Он убрал руку с ее плеча и выпрямился. – Им важнее где-то потусоваться, почувствовать себя приобщенными к искусству – неважно, какого оно уровня, важен сам факт, что ты слышишь рифмованные строки. Всем хочется, чтобы выступающий был молод, бодр и свеж, остальное приложится. А есть ли у него имя, репутация, опыт, хороший материал – да без разницы. Зато мы культурные, зато мы поэзию слушаем!

Долговязый поэт в кожанке еще раз поклонился и спустился со сцены, уступив место хмурому усатому парню с внешностью артиста. Тот откашлялся и начал читать:

*Я возьму бутылку текилы  
И пойду с ней на крышу, что там, в небесах,  
Приложусь к бутылке нехило,  
Чтоб забыть блеск твоих черных глаз.*

Поэтесса не очень любила такие «народные» вечера, ведь если ты хороший поэт, то хочется, чтобы тебя и окружали хорошие поэты. Уверенные в себе люди, которых перед выступлением терзает легкий, пружинящий страх, или неуверенные, которые дают этому страху по морде и заставляют себя выступать, часто уделявая по всем фронтам опытных, расслабленных московских рифмоплетов. Взять хоть Митю Беспалого – он служил с поэтессой в одной фирме. Толстый, лысый, в синем дырявом свитере, он боялся смотреть ей в глаза, когда здоровался, а в столовой отдели-

вался неловкими фразами вроде: «Ну-у-у хорош сегодня харчо, а?» Спросив, Митя довольно кивал на ее привычный ответ, проглатывал компот из красной смородины и спешно уходил. На летучках всегда молчал, а когда начальник его спрашивал, пучил глаза, но говорил на удивление спокойно, преодолевая природную робость. На сцене же Митя преображался: выходил с прямой спиной, улыбался, уверенно брал микрофон в руки, переминался с ноги на ногу, выбирая удобную точку опоры для своего крупного тела, молчал секунды три-четыре и читал так, что даже отбитые интроверты, не отлипающие от TikTok, начинали его слушать. Митя кайфовал как от самого чтения стихов на публике, так и от литературного похмелья, длившегося несколько дней, в том числе и на работе. Однажды на летучке на вопрос начальства о поставках диодных лазеров на склад в Мытищах Митя искренне ответил четверостишием про то, как ему напевы жизни претят, а песни сердца – словно храп. Посмотрев на удивленные лица сослуживцев и осознав сказанное, Митя побледнел. После, в столовой, очкастый бухгалтер за стаканом чая посоветовал ему в следующий раз не бледнеть, а краснеть – так раскаяние выглядит убедительней. Начальник, постаревший военный разведчик, был человеком справедливым и расценил нарушение Митей субординации как добрую шутку. Хотя его волчья улыбка и прищуренный взгляд словно говорили: «Митенька, так ведь ты не шутишь».

А еще поэтесса понимала, что на фоне слабых стихотворцев она изначально оказывается в выигрышном положении. Критик это тоже знал, но, в отличие от поэтессы, не жаловал как многих новичков, так и профессионалов, находя графоманские нотки в каждом втором стихотворении, которое ему попадалось. Он уже больше десяти лет работал в редакции одной крупной московской газеты, отвечал за рубрики, связанные с культурой. Приглашал своих коллег по цеху написать материал за небольшой гонорар, по мере сил и возможностей помогал молодым талантам, сам много писал. Много места в своей колонке уделял поэзии: рецензии его были хлесткие, разгромные, хотя критик не забывал и похвалить автора, но только по делу. Чаще всего его оценки были справедливы, особенно когда нечитаемые и понятные пяти-шести людям, мутные, как болотная тина, верлибры и наивные, неуклюжие вирши про лютики и колокольчики получали всероссийские, традиционно не очень щедрые премии.

– Так графоманы – это твой хлеб. – Поэтесса тыкнула критика пальцем в бок.

Критик, вопреки обыкновению, никак не отреагировал. Как сидел, сгорбившись, словно горгулья, так и продолжал сидеть. Поэтессе хотелось, чтобы он ее за этот палец взял, провел по нему рукой и поцеловал. Давно этого хотела. Но критик то ли не понимал, то ли не хотел понимать.

– Нет, не мой. Это наш с тобой хлеб. – Охнув, он поднялся на ноги и нагнулся над перилами, чтобы рассмотреть толпу.

Критик любил сидеть сверху, на втором этаже, чтобы его никто не видел. В таком положении было два плюса: меньше шансов встретить знакомых и больше шансов подлить красного вина в бокал из бутылки, тайком пронесенной в сумке с книгами.

Критик смотрел вниз, в полумрак. Он увидел высокого калмыка, судорожно перечитывавшего написанные от руки четверостишия. Потом взглянул на женственного греховодника, который, мило ухмыляясь, изучал золотую цепочку в ложбинке меж грудей своей спутницы, чуть не засунув нос ей в декольте. Неожиданно удивил косматый увалень в итальянском костюме, пивший холодное темное пиво из стакана и кивавший почти на каждое слово, произнесенное со сцены. Заинтересовала одинокая блондинка с правильными чертами лица, смотревшая то на сцену, то в смартфон и точно ожидавшая, что напротив нее сядет кто-то умный, интересный и спросит: «Что ты здесь забыла?»

– Нда-а-а, хлеб здесь хоро-о-ош, – протянул критик. – Все сорта есть – и булки, и батоны, и кирпичи. Даже колобок есть – вон, смотри, лысый, сидит там.

Он указал пальцем в сторону толстого мужика, задумчиво жевавшего гамбургер.

Поэтесса громко отодвинула стул, встала, пошла к критику и, как тому показалось, захотела к нему прижаться, но усилием воли заставила себя сдержаться и не сделать этого.

– Что ты привязался к человеку? – Голос поэтессы прозвучал как-то холодно, и критик решил, что это связано с ее предстоящим выступлением: когда поэтесса нервничала, то начинала спорить и капризничать.

– Да это не совсем человек, а поэт. – Он кивнул в его сторону. – Он же стихи читал, помнишь?

Поэтесса обиделась, но промолчала. Она помнила. Колобок, тот самый полный мужичок, читал бодро, уверенно. Стихи у него были такие же

бодрые, уверенные – выступающий очень старался. Она слушала и смотрела на критика, который с каждой минутой хмурился все сильнее и уже на третьем стихотворении вынес приговор: «Слушать эти вирши про каких-то там “детей грязных хилых войн” не-воз-мож-но!» Поэтесса очень часто с критиком соглашалась, и в лучшие времена, когда они сидели и слушали плохие стихи, реагировали примерно одинаково, делали похожие замечания, смотрели друг на друга, улыбались, чувствуя близость – не только между мужчиной и женщиной, но и между ценителем и создателем, – но в последние недели все стало каким-то будничным, приевшимся, а потому неискренним. Оба старались этого не показывать, но с каждым разом попытки были все наивнее и глупее.

Так, ей очень понравились стихи Колобка:

*Любовь нам часто только снится,  
Она полна благих надежд.  
И мне порой, когда не спится,  
Чуть слышен хруст ее одежды.  
Я чуял тьму и видел блеск  
Луча над тысячью гробов.  
Теперь же слышу только плеск  
Воды, гробницы дураков.*

Поэтессе очень захотелось, чтобы критик прочитал ей такие искренние стихи. Но тот сидел сгорбившись, ворчал и пил вино, а слова лились со сцены, но их произносили другие люди. Хотя критик мог бы написать хорошие стихи – поэтесса это не просто чувствовала, а знала. Но и ничего ему об этом не говорила – ждала, сама не зная почему.

– Хоро-о-ош хлеб, ничего не скажешь, – мечтательно повторил критик, рассматривая посетителей. – Раз так, то нужно вино, чтобы в него хлеб макать. – Критик повернулся к поэтессе. – Колобка сожрем первым. Ты какое будешь?

– Белое. – Поэтесса немного помолчала. – Не понимаю, почему я должна об этом говорить? Ты же прекрасно знаешь, какое я вино люблю.

– Вот-вот. Только когда я приношу белое, тебе хочется красного, а когда я схожу в магазин во второй раз и возьму кьянти, тебе вдруг хочется красностопа. – Критик улыбнулся поэтессе так, будто она была маленькой девочкой, неспособной выбрать себе торт на день рождения. – А я тогда возьму красное. Белое вино – это для девочек.

Он повернулся к ней спиной и побрел к лестнице. Поэтесса проводила его взглядом и ощути-

ла странный укол в сердце. Она слышала от него эту глупую шутку сотни раз и уже устала обижаться на слова, которые в начале их знакомства казались милыми, а сейчас казались уже очень грубыми. Сейчас опять обидно стало. Почему?

Она взглянула на несуществующее кольцо на пальце, затем перевела взгляд вниз, на отвернувшегося от нее критика, неуклюже спускавшегося по лестнице. Механически развернула листок со шпаргалками и стала быстро читать, слегка шевеля губами.

Спустившись, критик встал в очередь. Кафе, носившее мандельштамовское название «Шум времени», было в европейском стиле: открывая дверь и заходя в узенькую проходную, ты шел по длинному коридору, выбирал свободное местечко, потом подходил к стойке и делал заказ. Расплачивались тоже у стойки, так что очереди было две.

Критику стало дурно. Он глядел на белые скамьи, устилавшие дубовые столики, и с грустью вспоминал беззаботные, но голодные денечки в Италии. Он туда ездил на стажировку по обмену, стал пробовать писать очерки и репортажи о происходивших событиях, стучался в редакции итальянских газет, пытался включиться в размеренный, для русского человека непривычный, ритм жизни, но не смог и вскоре вернулся в Москву. Часто, выпив водянистого кьянти, мысленно перемещался на старинные, хоть и грязноватые улочки и бродил по ним, живя телом в Москве, а душой в Риме. Однажды, находясь где-то между Тверской улицей и виа Гарибальди, он забрел в книжный магазин и от нечего делать стал искать новый роман Орхана Памука, чтобы написать рецензию для газеты, в которую недавно устроился. Памука, как назло, не оказалось, зато был Омар Хайям. Вернее, приятная русая девушка в платье цвета альпийской идиллии, державшая в руках «Рубайат» и внимательно читавшая про хлеб, вино и одиночество. Критик посмотрел на нее, невысокую, но крепкую, здоровую, надежную, и что-то отпустил внутри себя, улыбнулся. Она почувствовала его взгляд, оторвалась от книги и посмотрела на критика, слегка приоткрыв рот. И прошло секунды три. И поэтесса что-то поняла и улыбнулась в ответ – открыто, не стесняясь показать красивые крепкие зубы. И критик, открытый для любой книги и глухой к любым проявлениям чужих чувств, продолжал смотреть на нее не мигая. И девушка в летнем платье, стоявшая перед ним, притягивала, не вызывала робости и страха, от которого хочется засунуть пальцы в рот

и погрызть ногти. В ее легком смущении он видел интеллигентность, а в широко открытых глазах – интерес к человеку. От нее, такой незнакомой, но неожиданно близкой, исходил долгожданный покой. Критик подумал, что других женщин, подобных ей, он никогда больше не встретит.

И потому начал разговор первым, во второй раз в жизни будучи при этом трезвым.

Кто-то больно лягнул его сзади. Критик ойкнул и развернулся. За ним стоял Колобок с пустым бокалом в руке.

– Прошу прощения! – Колобок похлопал критика по спине. – Тут узковато, не рассчитал.

– Да ничего страшного, – вежливо ответил критик. – Все нормально. Вино не пролили?

Колобок посмотрел на бокал, потом критику в лицо.

– Н-нет вроде.

– Ну и слава богу. – Критик протянул бармену купюру и спросил два бокала белого вина.

Он решил поддержать поэтессу. Вооружившись бокалами, неуклюже прошел к лестнице, чуть не облив вином стоявшую рядом пожилую даму, и поднялся наверх, к столику, за которым его должна была ждать поэтесса.

Но ее там не было.

Критик удивленно обошел стол, держа бокалы с вином в руках. На замшевые ботинки пролилось несколько капель, но он не обратил внимания. Ни поэтессы, ни ее сумочки. Куда ж она подевалась?

– Вы один? – Кто-то стоял за его спиной.

Критик обернулся. Увидел Колобка, державшего в руке новый бокал вина.

– Н-нет... Я с дамой.

– Да-да-да. – Колобок энергично закивал. – Я ее видел. Она выступает сегодня.

– Вот-вот... Только куда-то отошла.

– Давайте выпьем за ее здоровье. – Колобок протянул руку с бокалом, и критик ответил на тост, чокнувшись своим бокалом.

Мужчины сделали по глотку.

– Я присяду? – спросил Колобок.

– Пожалуйста... Только не на этот стул, тут поэтесса сидит.

– Пардон. – Толстяк уселся слева от критика. – А я вас знаю.

Критик не удивился. Его уже несколько лет узнавали молодые поэты и пытались пригласить на бокальчик, чтобы завоевать лояльность, но критик старался не поддаваться на провокации и сохранять независимость. До встречи с поэтессой это создавало большие проблемы в от-

ношениях с женщинами, но никогда не подвело на работе. А критик даже сейчас был на работе – от него к понедельнику ждали готовый материал.

- Я вас тоже знаю, – аккуратно ответил критик. – Видел вас на сцене.
- Вам понравилось?
- По первому разу сложно судить. – Критик сделал глоток и подождал несколько секунд, смакуя вино и время. – Мой вам совет – не пишите стихи. Вам же массовый читатель нужен. Попробуйте написать роман – роман еще можно продать, в отличие от стихов. Стихи выкладывают в Интернете – больше шансов прославиться. – Он сделал еще один глоток, и бокал опустел на треть.
- Спасибо. – Колобок отхлебнул вина. – А что вам больше всего понравилось?
- Мне понравилась ваша аутентичность. – Ответ был стандартен, как голливудский сериал. – Благородная интонация. Немного веет классикой, но вы не повторяете какую-то традицию, а пишете самобытно, хотя влияние наших предков определенно есть. До их уровня, правда, совсем не дотягиваете. Вы пишете по-своему, даже оригинально, но просто, ровно, без эмоций. Вам не хватает образности, каких-то убедительных, именно вами обнаруженных деталей. – Критик сделал очередной глоток. – Советую поработать над техникой. Важно не только, что вы читаете, но и как это делаете. – Он улыбнулся, глядя на озадаченного Колобка. – Послушайте критика.

Он допил вино и отодвинул пустой бокал в сторону. Стрельнул глазами на свою сумку, в которой лежала початая бутылка вина. Был вечер пятницы, и хотелось напиться, но критик сдерживал себя: не хотелось расстраивать поэтессу.

А ведь вино их сблизило. Он подошел к ней тогда, в книжном магазине. Что-то сказал. Посмеялся. Представился, спросил, как ее зовут. Услышал ее имя, почувствовал энергию здорового тела и понял, что пора бы уже забыть об Италии. Они вышли из книжного, купив томик Омара Хайяма, прогулялись, зашли в кафе, и он ей рассказывал про итальянскую мафию, шоколад и римское солнце. Потом, уже на свидании, они пошли в театр, потом еще раз, и еще, и он ей подарил розы и, преодолевая природную робость, предложил проводить до дому. По дороге купил красного вина...

- О, смотрите, она вышла. – Колобок кивнул в сторону сцены.

- Верно. – Критик чуть не уронил пустой бокал. – Абсолютно верно. Можно на «ты».

Колобок кивнул, глотнул вина и приготовился слушать.

Критик смотрел на сцену. На ней стояла поэтесса. Окутавший ее полумрак добавлял образу загадочности – русая, в черной шляпке, волшебная, словно привет из детской сказки. Свет падал на кругловатое личико и волевой подбородок, слегка подтянутые скулы, прямой нос и глаза чайного цвета. На шее висел небольшой медальон с изображением святой княгини Елизаветы Федоровны.

- Она подошла к микрофону, взяла его в руки, поздоровалась. Публика стала хлопать в ладоши.
- Здравствуйте, дорогие друзья! – улыбнулась поэтесса. Критик, как всегда, залюбовался ее зубами. – Добрый вечер...

«Привет с большого бодуна». Критик, усмехнувшись, почувствовал тревогу и залил ее глотком белого из бокала, предназначавшегося поэтессе.

Она стала читать подводку, и критик внимательно слушал – уж кто-кто, а он прекрасно знал, как поэтесса не любила подводки. Когда она накануне готовилась к выступлению, критик подошел к ее рабочему столу и спросил, что это она делает.

- Пишу подводку, – раздраженно сказала поэтесса.
- Под водку? – рассмеялся критик и выскочил на кухню, опасаясь, что в него полетит карандаш.

И вот она стоит – в свете прожекторов, в вечернем платье, чьи узоры напоминали форзацы дореволюционных книг, с длинными распущенными волосами, и читает стихи про дедушку, про сердце, жадно пьющее горечь, про очищающий дождь. Последнее стихотворение критику особенно нравилось, но только как слушателю. Этого он ей никогда не говорил.

- Может, еще по одной? – спросил Колобок.

Критик отвлекся от вдумчивого созерцания и, подумав, кивнул.

Колобок сходил за вином. Поэтесса продолжала читать стихи. Критик слушал знакомые строчки, чувствовал удары быстро бьющегося сердца и крутил в голове немного печальную мысль: исполнение было гораздо лучше самих стихов. А выступала поэтесса как настоящий мастер: неторопливо, бодро, артистично, правильно расставляя акценты и смакуя слова, словно кусочки пармезана в меде.



Они выпили еще по бокалу. Критик достал из сумки бутылку, отвинтил крышку и угостил Колобка. Потом еще раз. И еще. Итальянское вино лилось в глотку легко, и критик неожиданно понял, что начал пьянеть.

– А давай по пивку? – Колобок хитро улыбнулся, когда критик убрал пустую бутылку под стол.

– Вино под пиво... – начал было критик.

– Да ладно!

– Ну, все же...

– Вечер пятницы!

– Так сейчас она вернется.

– Уверен?

– О чем это ты?

Голова слегка кружилась.

– Она сейчас придет, и...

– Да ты лучше меня знаешь, что потом к ней пойдут читатели, она станет фотографироваться, подписывать книги, болтать с организаторами... Давай шлифане-е-ем!

Колобок хлопнул его по плечу.

Критик злобно на него зыркнул.

– Руки убрал, – тихо сказал он.

Колобок вскочил со стула.

– Да, извини-извини... Я за пивом.

Он скрылся. Критик остывал. Он сам не знал, что на него нашло, и вновь почувствовал в душе тревогу.

Поэтесса начала читать новое стихотворение. Критик закрыл глаза. Голова слегка кружилась.

Он хорошо помнил, как слушал ее в первый раз, вскоре после их знакомства. Та читала стихи, смотрела слушателям в глаза, наблюдала, как они рассматривают что-то в смартфонах, потом возвращаются в реальность, задумчиво кивают головой или повторяют ее стихи слово в слово. Временами смотрела вверх, на критика, чтобы проверить, слушает ли он. А критик сидел на втором этаже, слегка сгорбившись и сложив руки на груди, и с наслаждением слушал не то, что она говорила, а как это делала. После, когда поэтесса закончила и вернулась за их столик, критик от души похвалил ее. Та улыбнулась и поделилась доброй вестью: у нее выходит первая книжка. Критик поднял бокал и сказал добрый тост в ее честь. А поэтесса, счастливо улыбаясь, добавила: «Поэту надо не только писать хорошие стихи, но и пить с хорошими людьми!»

Критик смотрел на нее с восхищением.

Вернулся Колобок с двумя бокалами темного пива в руках. Протянул один бокал критику, и тот, поблагодарив, взял его в руки. Они выпи-

ли. Колобок поморщился – пиво для него оказалось крепковатым, но критику было в самый раз. Он уклончиво извинился за свою вспышку ярости и, успокоившись, стал рассказывать Колобку о силлабической поэзии и полном собрании сочинений Юрия Кузнецова, о бельгийском пиве и итальянских соусах, о достоинствах своей любимой девушки – и недостатках стихов Колобка. Голос поэтессы звучал откуда-то снизу, приглушенно, сдавленно, и критик теперь уже не обращал внимания на давным-давно знакомые строчки. Зачем? Он и так их чуть ли не каждый день слышит. Красота приедается.

Критик снова и снова ходил за пивом, и его медленно, но верно окутывал давно забытый мрак, прерываемый новым тостом и редкими вспышками сознания.

## II

Глаза он открыл уже дома, лежа на диване. Не удивился. Пару раз он так засыпал в редакции, заваленный работой и опьянением после третьей банки пива, и наутро болела не только голова, но и тело. Сейчас было точно так же – критик встал, хрустнув костями, постоял, пытаясь сообразить, что происходит, и осмотрелся.

Было светло и очень тихо. Одежда на диване сильно смята, будто с критиком спало еще человека три, сумка с книгами, взятыми на рецензию, лежала перевернутой в углу, а из почти севшего смартфона, ставшего ненадолго будильником, лилась музыка, требовавшая, чтобы критик проснулся и пошел, а точнее побежал.

Критик, сильно сощуриив заспанные глаза, потянулся к тумбочке, выискивая среди грязных чашек и недочитанных книг очки. Нашел их. Надел. Затем взял смартфон, отключил будильник, почему-то трезвонивший в субботу, и засунул гаджет в карман джинсов. Забеспокоившись, похлопал себя по карманам.

Смартфон на месте. А вот кошелек нет.

Критик действительно не пошел, а побежал на кухню. Порыскал на столе, у плиты – кошелек не было. Нашел брошенную на стуле кожаную куртку и порылся во внутренних карманах – тщетно. Побежал в спальню, перевернул двуспальную кровать, тумбочку и даже книжные полки. Пусто.

«Потерял?» – испугался критик и мысленно стал вести список потерь. Паспорт, две банковские карточки, семь тысяч рублей наличными, билет в библиотеку, социальная карта, пропуск в редакцию...

Кошелек лежал на ее столе. Том самом, за которым еще вчера поэтесса писала подводку. Критик схватил кошелек, открыл его, проверил, не пуст ли. Все лежало на своих местах. Только наличных стало в два раза меньше. Облегченно вздохнув и возблагодарив Бога, критик перекрестился и бросил кошелек обратно на стол. Повернулся к двери, осмотрелся, и тревожность вернулась.

Посмотрел на кровать – до него в ней никто не спал.

Тут критик вспомнил свое пробуждение на диване, вспомнил, как сходил со своей любимой девушкой, с которой жил уже почти два года, на поэтический вечер, вспомнил Колобка и свой неожиданный, совершенно незапланированный, постыдный загул.

Критик мотнул головой, в которой будто лежал кирпич, силясь вспомнить, куда же подевалась поэтесса. Может, уехала? Он открыл дверцу шкафа и увидел ее одежду: белый пиджак, вечерние платья, блузки. Под одеждой лежала дырявая спортивная сумка критика. А вот ее черного чемодана на колесиках не было.

Критик поспешно вернулся в гостиную, плюхнулся на диван и взял в руки смартфон. Увидел, что он зачем-то звонил поэтессе в час ночи, а та не взяла трубку. Странно.

Посмотрел на часы. Полдень. Решив, что уже можно, позвонил.

Первый гудок. Второй. Третий. Четвертый. Вот уже пятый. Критик знал, что если на пятом гудке трубку не берут, то, скорее всего, и не возьмут уже. Надо сбросить вызов и перезвонить попозже либо дождаться, когда тебе перезвонят (или нет). Но критик упрямо продолжал слушать гудки. На восьмом беспардонно влез автоответчик с предложением записать голосовое сообщение. Критик посчитал это глупым и отключился.

Голова болела. Ничего не вспоминалось. И чем сильнее он хотел вспомнить, тем больше забывал. Боль грызла голову, впивалась в мозг, словно крюк. Тревога никуда не пропадала.

Он помнил, что начал пить с Колобком, когда поэтесса вышла на сцену. Выступала она обычно минут двадцать. Однако выпили они хорошо если по три бокала вина, а потом еще бутылку в придачу. И затем взяли пива... Значит, сидели долго. Где же тогда была поэтесса? Почему не подошла? И как он вообще до дома доехал?

Критик поднялся и прошелся по квартире. Прошлого не хотело открыться. И это пугало. Кто-то забивал в мозг гвозди, как будто наслаждаясь

хрустом пробитого черепа. Похмелье смешивалось со страхом, будто пиво с вином.

Он позвонил еще раз. Ответа не было. Подождал полчаса, то и дело сверяясь с часами и считая минуты, и еще раз позвонил. Безрезультатно.

Он снова походил по квартире. И неожиданно понял, что на самом деле его тревожит. Он не чувствовал ее запаха – запаха чистого тела после душа, тщательно вымытых волос, духов с цветочно-зеленым ароматом. Именно ее запаха.

Критик закрыл глаза.

Поэтесса пропала.

Он встал и, стараясь не слушать сердце, пошел на кухню, проглотил две таблетки анальгина, запил их водой и вернулся на диван. Мозг настойчиво предлагал наполнить желудок пивом, но критик отверг эту идею – он никогда не опохмелялся. В такие моменты всегда вспоминал своего друга, артиста из потомственной актерской семьи, с которым как-то, еще до знакомства с поэтессой, пил коньяк на даче. С утра, очумевший от кутежа, критик на предложение опохмелиться ответил твердым отказом, и артист уважительно закивал, сказав: «Правильно делаешь. Опохмел – это первый шаг на пути к алкоголизму».

Критик взял смартфон и проверил личную страничку поэтессы во всех социальных сетях. Она выходила на связь, но рано утром. Сбравшись с духом, написал ей сообщение: «Привет! Ты где? Что случилось?» – и отправил всюду, где мог. Потом лег и каждую минуту стал проверять, не прочитала ли она и не строчит ли ответ, хотя усердно себе говорил, что не надо так делать, это глупо.

Пришло время обедать, но есть критик не хотел. Он долго мылся под очень горячей водой, устроив в ванной парную. Потом, переодевшись, вышел на кухню. Открыл холодильник, без интереса посмотрел, что там внутри. Овощи, фрукты и остатки жареной курицы с картошкой. Надо бы поесть, но критик не чувствовал голода. Такое бывало с ним часто, особенно когда он писал, – ему нужен был только стол, свет, немного вина и книга, про которую можно что-нибудь рассказать.

Он сидел, клацал по клавиатуре, словно по клавишам пишущей машинки, и так бы и писал всю жизнь, если бы не голос поэтессы, который звал его ужинать. Тогда критик заставлял себя выныривать из своей интеллектуальной нирваны, отряхивать руки от невидимых чернил, допивать вино и идти на кухню, где уже стояла поэтесса. Она мягко, но твердо его спрашивала: «Ты не

оглох? Я тебя зову уже в третий раз» – и привычно наполняла его бокал.

Так они и жили. Критик с детства привык, чтобы дома за него все делали. Он был активен на работе, в том числе и дома, за письменным столом, но бытовая сторона совместной жизни его совершенно не интересовала. Он не стирал свое белье, не чинил испортившиеся вещи, не мыл пол, доверяя все заботы поэтессе, возвращавшейся домой со службы поздно и еще что-то иногда писавшей по ночам, в ущерб сну и завтрашней бодрости. Он жил один, но с поэтессой. В редкие часы открывался и позволял ей любить его. В очень редкие часы.

«Где ты?» – думал критик. Он вернулся в их комнату, пытался занять чем-то голову, листая какие-то книжки и прохаживаясь из одного угла в другой, чувствуя, как с каждым часом голова болит все сильнее, но не мог сделать ничего толкового. Его переполняла странная внутренняя энергия, порожденная тревожностью, и он не знал, куда ее выплеснуть.

Он вышел на кухню, такую чистую, потому что поэтесса тратила на нее добрый час своей жизни каждый день, и внезапно почувствовал давно застывший в душе стыд. Он пытался ей помочь, но ничего хорошего из этого не выходило: критик все делал медленно, через силу и глупо, так как неправильно загружал посудомоечную машину грязными чашками и тарелками, неправильно мыл пол, неправильно сортировал грязную одежду, стирая вместе со своим красным нижним бельем белые кофточки поэтессы, из-за чего белье оставалось красным, а вот кофточки становились розоватыми. В результате проще было все делать не вместе с критиком, а вместо него: поэтесса, убирая квартиру, не мешала критику, уставшему после вычитки полос и подбора новых материалов, разбирать по косточкам новый модный роман или расшифровывать интервью, понимая, что ее мужчина принесет больше пользы за письменным столом, чем на кухне.

Критик вздохнул. С поэтессой жилось хорошо, но не совсем свободно. Домашние обязанности подменялись писаниной, но стыд не пропадал – лишь накапливался. Потому он любил жить один – как тогда, в Италии.

Вспомнилась итальянка. Единственная, с кем у него была связь там, в другом мире. Недолгая, странная связь: он тогда возвращался из магазина домой, неся в руках пакеты с продуктами. Она шла чуть впереди, большая, крепкая, черноволосая и в белом платье. Было воскресенье, время обеда,

и на улице, как обычно, было совершенно пусто – критика, родившегося и выросшего в Москве, это всегда удивляло. Он шагал так же неспешно, как и она, и увидел, как сквозь белую ткань просвечивает ее черное нижнее белье. В голову ударило так сильно, будто сверху упала бутылка. Он пошел быстрее, потом обогнал ее, обернулся, улыбнулся и представился. Сказал честно, не стесняясь: она прекрасна, и ему страсть как хочется отведать с ней вина. Итальянка, уже взрослая женщина, смотрела на усатого юнца северной внешности – решила небось, что он немец, – и неожиданно ответила на его приглашение согласием. Вечером, когда они пили вино у него дома, критик на радостях перебрал, читал стихи Пушкина на итальянском, пытался вспомнить что-то из Данте на русском. Итальянка, умело смакуя не очень дорогое вино, смотрела на него и будто кого-то вспоминала, давно ушедшего, но незабытого. Критик пытался понять, сколько ей лет, и решил, что она лет на десять его старше. Ну и отлично. Она тут, с ним, все знает. С ней хорошо. Утром, проснувшись, критик прокрутил события прошлого дня и ночи и почувствовал странную гордость. Добро пожаловать в клуб. Потом встал, походил по небольшой квартире и понял, что итальянка ушла. Ее нет. Остался только запах – запах чистого тела после душа, тщательно вымытых волос, духов с цветочно-зеленым ароматом. Именно ее запах. Тот, что преследовал его несколько лет, с того дня, что он ходил, побледневший, по старинным итальянским улицам, пытаясь найти пропавшую итальянку, до того момента, как он встретил поэтессу. Уже не в Италии – в России.

Тот запах, что он, проснувшись, не почувствовал. Впервые за два года.

Критик сел на стул и закрыл голову руками.

Он всегда боялся своей неуверенности и мечтательности и пытался их скрыть. Он приучил себя к, как ему казалось, следованию логике и фактам: он предпочитал не верить, а знать. «Я знаю, что эти стихи плохие!» или «Я знаю, что вам еще расти и расти, чтобы стать писателем!» – так часто говорил критик, подкрепляя свои суждения конкретными примерами. И о любви поэтессы к себе он предпочитал знать. К чему здесь вера? Они едят за одним столом, спят в одной кровати, все свои планы строят исходя из того, что они вместе. Во что ж тут верить, все и так понятно.

Он спешно доел остатки ужина, не разогревая. Пока жевал, не отрывался от смартфона. Думал. Ждал.



А вдруг ее похитили? Или она уехала куда-то, и даже говорила ему, а тот сидел за столом, пьяный, и ничего не понимал? Или он ее чем-то обидел, и она ушла...

Почему?

«А может, она уехала... С Колобком?»

Критик чуть не поперхнулся куском курятины.

«Точно! Колобок так на нее смотрел на сцене.

Видно же, что она ему нравится. Видно... Господи, ну конечно! Он ни номера не оставил, ни сообщения... И платил ли он вообще... Господи, где ты? Куда укатился этот Колобок, черт его побери?»

Раздался дверной звонок. Вскочив и больно ударившись большим пальцем левой ноги о табурет, критик, заскулив, попрыгал на одной ноге в сторону входной двери. Крутанув замок, открыл ее.

И уставился на гостя, слегка приоткрыв рот.

– Привет! – Колобок бодро вошел в любезно открытую хозяином дверь. – Как ты, нормально?

– Нормально... Ты как тут оказался?

– Так ты мне адрес дал, в гости звал. У меня и номерок твой есть. – Колобок довольно цокнул языком. – Хорошо мы с тобой кутнули! А она как классно читала... Всех уделала. – Он смотрел по сторонам со смесью интереса и любопытства. – А где она?

– Ты... – Критик захлопнул дверь, слишком поздно сообразив, что сделал этот чересчур громко. – Ты не знаешь?

– Не-а. – Колобок честно замотал головой. – Я помню, как она читала стихи, а мы пили пиво. Потом ты еще пару раз ходил. В гости звал – даже вон на салфетке адрес написал. – Он достал скомканную салфетку из кармана и развернул ее. – Неразборчиво так, я еще два раза не в тот подъезд заходил, всех там распугал, но все-таки нашел тебя. – Он засунул руку в целлофановый пакет и достал бутылку дорогого вина. – Вот, это с моей стороны... Ты тогда мне не дал заплатить. Возвращаю долг.

Критик машинально взял в руки вино и поставил бутылку на стол. Его заинтересовала отнюдь не надпись на этикетке.

– Ты как домой доехал? – Критик сел за стол, забыв предложить сделать это гостю.

– Да сам не помню... Меня кто-то на такси посадил. – Колобок сел, взглянул на бутылку, затем на критика. – Может, поэтесса? Где она, кстати?

– Да поехала куда-то... К подругам, что ли.

– Понятно... – Колобок красноречиво смотрел на бутылку. – Хорошая она... Такая, знаешь, полная сил...

– Кто – бутылка?! – почти завопил критик.

Колобок вздрогнул и вперил в него свои пугливые глазки.

– Н-нет... Точно не...

– Давай катись отсюда! – Критик вскочил со стула и схватил Колобка за руку. – Давай-давай, мне некогда. Работать надо, я сейчас сдохну тут.

Критик рывком подняла Колобка со стула.

– О-ой, извини, извини. – Колобок затрясся. По его лбу потекла капелька пота. – Я же мешаю... Прости, я...

Критик, ничего ему не говоря, проводил заторопившегося Колобка к выходу, повторив напоследок: «Давай катись отсюда!», убедился, что тот побрел к лифту и, ни слова ему не говоря, захлопнул дверь. Дважды запер ее на замок.

Критик вернулся к столу, взглянул на неудачно подаренную Колобком бутылку вина. Захотел разбить ее, но, прочитав на этикетке греющие душу строчки, сдержался. Даже немного повеселел. Это была барбера, его любимый сорт вина.

Само собой, хотелось его отведать, но критик сдержался. Голова только перестала болеть. Он оставил бутылку на столе и закрылся в комнате с книгой. Хватило его минут на пятнадцать – отложив неудачные стишата в сторону, он проверил еще раз, не написала ли поэтесса. Нет, молчала.

Он лежал, думал, вспоминал. Ждал. День постепенно перетекал в вечер, а ответа от поэтессы все не было. Тревога мучила, пожирала внутренности и все никак не могла насытиться. Он же не мог понять, куда пропала поэтесса, что с ней случилось, почему не отвечает и что было с ним, когда он позволил себе опьянеть и потерять над собой контроль?

Он смутно вспоминал блондиночку, сидевшую на первом этаже, у самой сцены. Ее умный взгляд, обнаженные плечи, крашенные волосы. Довольно примитивная, вульгарная, простая и даже пошловатая, но критика что-то в ней зацепило. Ему хотелось узнать, не пишет ли она стихи.

А вдруг он к ней полез? Стал обнимать ее, может, даже поцеловал? Тогда все понятно. Тут даже говорить не о чем. Все сходится.

И вот уже критик нарисовал картинку, и его тревога стала еще сильнее, и сердце забилося быстрее. Он позвонил поэтессе, дорвался до автоответчика, матернулся с досады и отключился, а потом пожалел, что вообще все это затеял, и пнул ногой письменный столик.

Почему он не ценил ее? Почему не относился к ней всерьез? Не как к вещи и не как к образу,

а как к человеку со своими желаниями, страхами, потребностями. Со своей личностью. Что с ним случилось? С ними?

Ведь еще месяц назад все было хорошо. Они тогда гуляли по парку Горького, выбрали скамеечку поглубже в лесу и выпили бутылку розового, слегка игристого вина. Критик нервничал и порой оглядывался, чтобы проверить, не бродит ли рядом полицейский. Тогда он сказал какую-то глупость, а она рассмеялась и положила голову ему на плечо.

– Пойми, есть то, что говорю я, и то, что говорят другие. Все, что говорю я, правда.

– Все-то ты знаешь. – Поэтесса погладила его по небритой щеке.

– Знаю. Потому что боюсь. – Он сам не ожидал, что скажет такое.

– Чего ты боишься?

Он вздохнул.

– Неожиданностей.

– Тебе нужна вера. Надежда.

– И любовь, ага. – Он улыбнулся. – У меня есть ты. Это я знаю. А еще знаю, что жизнь во всем мире становится только хуже. Уходит искренность. Остается лицемерие – я с ним каждый раз сталкиваюсь, когда меня просят написать заказную рецензию. Со своим собственным лицемерием, не только чужим. Книги становятся хуже, люди – скучнее. Хочется верить и надеяться, что я ошибаюсь. Но я прав. Я это знаю.

Поэтесса что-то хотела сказать, но не решилась. Они молча пили вино и слушали свое молчание.

Критик выходил из ванной, когда зазвонил телефон. Выхватил смартфон из кармана халата так, будто это был хвост гремучей змеи, и с тревогой посмотрел, кто звонит.

Сердце дрогнуло.

Он чуть не выронил гаджет из руки.

Звонили из театра, на спектакли которого критик время от времени писал рецензии.

Глубоко вздохнув, критик прижал смартфон к уху.

– Добрый вечер. – К критику обратились по имени-отчеству. – Как ваши дела? У нас тут очередная премьера, «Кошка на раскаленной крыше» по Уильямсу. Знаете такого?

– Знаю.

– Спектакль завтра. Придете?

Он замаялся. Сердце извивалось, будто заискивающий перед критиком графоман.

– Боюсь, что нет. Будет много работы, задержусь в редакции.

– Очень жаль. – В трубке вздохнули. – В воскресенье работаете... Приходите на той неделе! Мы вас всегда ждем.

– С удовольствием, – вежливо ответил критик и, попрощавшись, сбросил вызов. Традиционно проверил переписку – не ответила ли? Не ответила.

Вздохнув, пошел на кухню.

Он долго колдовал над бутылкой, решаясь. Похмелье уже практически прошло, и очень хотелось его вернуть.

Критик представил, как бы отнеслась к этому поэтесса. Он вчера куролесил и наверняка разбил ей сердце, а сегодня продолжает оттягиваться.

Сдерживая зарождающийся в груди гнев, критик убрал бутылку в холодильник. Он дождется, когда вернется поэтесса, и выпьет с ней. Вино – как и любовь: чем дольше пробудет в холоде, тем ярче будет вкус.

Критик порывлся в буфете и холодильнике, сварил макароны и разогрел пожарские котлеты. Есть не очень хотелось, но он заставил себя поужинать. Грязная посуда лежала в раковине, но критик даже не думал о том, чтобы помыть ее.

Он заглядывал на ее странички в социальных сетях, водил пальцем по лицу, спрятанному за толстым стеклом.

Задумался. Крепко.

Критику везло с женщинами, он легко с ними знакомился и начинал общаться, но на этом его умения заканчивались. На свиданиях он стеснялся, стоял несколько в стороне, наблюдая и оценивая, потому что видел, что своей спутнице он интересен как друг, рассказчик, славный парень, но не человек, с которым можно сблизиться. Когда же девушка делала аккуратные попытки побороть его недоверие, то он мягко, как ему казалось, ее отталкивал, а потом, потосковав, звал обратно. Он закрывался в себе и никого не подпускал – боялся. Только поэтесса смогла пробиться к его сердцу, причем легко, плавно, – и вот ее тоже нет. Не выдержала. Ушла – все они уходят, причем рано. Только поэтесса ушла поздно.

Он взял в руки смартфон и посмотрел. Молчит. Не читает. Не отвечает.

Критик схватился за голову, сжал зубы. Собрал все свои силы. И честно себе сказал – она ушла. Ушла. Расслабься. Ты снова один. Один.

Обычно он чувствовал страх, за ним злость, а на самом доньшке – облегчение. Вот и сейчас с грустью приготовился к тому, через что проходил уже много раз.

Он мотал головой, но чем дольше думал о поэтессе, тем ярче себе ее представлял. Вспомнил ее кругленькое лицо. Россыпь русых, длинных волос. Уверенную улыбку. Доброту в глазах. И почувствовал, как горячо из глаз текут слезы. В груди что-то захрипело, критика затрясло, и он начал рыдать, беззвучно открывая рот, чувствуя, как каждый порез на его сердце, каждый ожог, каждое сказанное наспех легкомысленное слово, подарившее ему потерянную вскоре надежду, каждый жест и проявление симпатии, каждый поцелуй и близость давят на сердце, превращаются в большой, твердый камень.

Он скрипнул зубами и открыл глаза. Рукавом халата вытер слезы. Камень покатился вниз, во тьму. Сердце продолжало биться. В нем жила поэтесса. Она смотрела на критика. Ждала его.

Он закричал и ударил рукой об стол. Потом еще раз. И еще.

Рука заболела. Сердце забилося быстрее. Легче не стало.

И критик вдруг понял: если поэтесса не вернется, он по-прежнему жить уже не сможет. Начнет портиться, словно забытый в коробке фрукт. Возможно, так наступает старость.

Критик поднялся, достал из шкафа швабру, наполнил ведро водой и начал мыть пол. Делал это неумело, плохо выжимал швабру, один раз чуть не опрокинул ведро, полное грязной воды. Закончив мыть пол, вспомнил, что забыл его пропылесосить. Пришлось ждать, пока пол высохнет, доставать пылесос и приниматься за дело, а потом еще раз браться за швабру.

Помыв пол, стал убираться. Протер спиртом большое стекло у входа, доставшееся поэтессе от бабушки. Помыл посуду. Постирал грязную одежду, внимательно сортируя вещи по цвету, поменял постельное белье. На всякий случай даже счетчик проверил.

Пока работал, постоянно заставлял себя лишний раз не проверять, написала ли ему поэтесса. Хватит уже. Критик давно знал, что чем больше просишь судьбу о чем-то, тем дольше ждешь от нее ответа.

Закончив с уборкой, критик заварил чай, съел яблоко и вернулся за свой рабочий стол. Подержал в руках книги, ждавшие его рецензии. Отложил их в сторону. Прокрутил в голове события пятничного кутежа – нет, ничего не вспомнилось, и писать о вечере он не готов.

Критик закрыл экран ноутбука, убрал его на верхнюю полку и выдвинул внутренний ящик ра-

бочего стола. Там лежали чистые листы белой бумаги. Засунув руку чуть глубже, почти по локоть, он постукал пальцами по дну и выудил маленькую квадратную коробочку, зажав ее между средним и указательным пальцами. Открыл ее. Там лежало кольцо с зеленым изумрудиком. Поэтесса всегда о таком мечтала, он узнал об этом от ее подруги, писавшей сказки для детей.

Он смотрел на кольцо. Потрогал пальцем камешек. Тот был красив, но холоден.

Почувствовал странный импульс. Сам не зная зачем, достал из кармана смартфон, набрал знакомый номер и стал слушать гудки. Потом извинился за поздний звонок, сказал несколько слов, кивнул и отключился. Положил смартфон на стол. Снова взглянул на коробочку. Вынул кольцо, захлопнул крышку и убрал коробочку поглубже. Кольцо же спрятал глубоко, во внутренний карман джинсов. Затем, захватив пару листов бумаги, достал их и положил перед собой на стол. Взял ручку. И стал писать.

Через два часа, переписав все на чистовик, взял в руки слегка помятые листы и стал читать про себя уже начавшие надоедать стихи:

*Ночь неспешно спускается с неба,  
День окончил свой долгий путь,  
Я остался без света и хлеба,  
Но зато познал свою суть.*

*Я всего лишь юный писатель,  
Тот, кто душу ищет в костях,  
Горьких истин невольный искатель,  
В блеске жизни видевший прах.*

*Я устал от холода боли  
И бездарно убитых часов,  
Недостатка силы и воли,  
Бессердечных и глупых стихов.*

*Я хочу приблизиться к свету  
И принять его режущий дар.  
Сердце трепетно чувствует лето,  
Огне-красного солнца удар.*

*Я оставил бури и гром  
И отдался весь тишине.  
Умиравшей скорби стон  
Откликается эхом во мне.*

*Чтобы жизнь не казалась пустой  
И чтоб сердце наполнил покой,  
Я иду знакомой тропой,  
По которой брели мы с тобой.*

*Я твой голос узнаю сразу,  
Он давно в моем сердце звучит,  
И застывший от холода разум  
Он теплом тотчас исцелит.*

*Я пишу тебе письма порою,  
Когда сердцу хочется выть,  
Ты не бойся: я здесь, я с тобой,  
Ведь связала нас крепкая нить.*

*Выдыхая тихо, спокойно.  
Много сил потерял я в бою.  
Мрак уходит; неспешно, спокойно.  
Я один. И я снова в строч.*

Было приятно. Он знал, что стихи неплохие, но был вынужден оценивать их не как поэт, а как критик. Стихам явно не хватало образности. Они были простенькие, довольно абстрактные, не бьющие по нерву. Вполне может быть, что хорошие. Но не блестящие. Потому их и публиковать не стоит: критик давно понял, что если ты пишешь стихи, то они должны быть либо блестящими, либо ужасными. Если же ты пишешь средние стихи, то ты нехороший поэт, считай, графоман. Зато, быть может, хороший критик.

Он собрал исписанные листы в небольшую стопочку, сжал их скрепкой и убрал в самый дальний ящик стола, к черновикам и письмам с угрозами и предложениями от безумцев, которые критик получал каждую неделю и, устав их выбрасывать, стал коллекционировать. Потом посмотрел на часы. Десять вечера.

Поэтесса так и не написала.

### III

Критик прилег на диван и закрыл глаза. Потом открыл. Светило солнце. Наступило воскресенье. Первым делом критик схватился за смартфон, разблокировал его и уставился на экран.

Написала?

Нет. Не написала.

Критик отбросил смартфон в сторону и захотел что-нибудь ударить, но сдержался. Гнев сменился тоской. Ладонь, сжатая в кулак, бессильно упала.

Где-то с час критик пролежал на кровати, потом неспешно позавтракал, сел за стол и за три часа написал рецензии на два средненьких поэтических сборника. Чуть успокоившись, встал и подошел к книжной полке, поставил книги на место. Глаз упал на томик Омара Хайяма. Да, тот

самый, что он подарил поэтессе, когда они познакомились. Критик взял книгу с полки, погладил ее. Казалось, будто он гладит спину поэтессы.

Открыл книгу на случайной странице. Прочитал:

*И лев, кормящийся с поборов на мечеть,  
Лисицей пакостной становится, заметь.  
Запомни навсегда простой закон природы:  
На дармовых хлебах нельзя не зачерстветь\*.*

Долгожданная расслабленность ушла. Критик, забеспокоившись, перелистнул страницу.

*Подай вина! От мук один бальзам – оно.  
Надежду на любовь дает сердцам оно.  
Милей, чем небосвод – кошмарный череп мира, –  
Единственным глотком дороже нам – оно!*

Еще несколько страниц. Руки слегка дрожали.

*По воле Господа для тех покоен свет,  
Кому число «один» превыше всех сует.  
Кто вместо нечета счет начинается с чета,  
Так он уже не в счет: ему покоя нет.*

В замке входной двери заскрипел ключ. Критик сжал в руках книгу и побледнел.

Дверь открылась. Кто-то вошел внутрь.

Критик выскочил в прихожую. Книгу он сжимал в руках.

У входа стояла поэтесса. Все в том же платье цвета форзаца дореволюционных книг. Все в той же черной шляпке, которую она вешала на крючок у двери. Со своим чемоданом.

Это была она.

– Привет, – улыбнулась поэтесса.

Критик подошел к ней и обнял. Та сначала удивленно отстранилась от него, но критик был настойчив, и она ответила на его объятия.

– Что с тобой? – К улыбке примешалась нотка недоумения. – Ты чего такой бледный?

Критик ничего не сказал, только обнял ее крепче.

Она перестала задавать вопросы. Обняла его за шею и прижалась щекой к его щеке. Так они простояли минуту. Критика всегда смущали такие проявления нежности, но не сегодня.

– Где ты была? – спросил он. – Я тебе писал.

– На семинаре, – ответила она. – Мы ведь уезжали в Перedelкино. Связь была ужасная, и я зарядку не взяла... Я же тебе говорила, ты забыл?

\* Перевод с фарси И.А. Голубева.

Он не помнил ни про какое Переделкино. Но не стал задавать вопросов.

– Забыл, – поняла поэтесса. – Как всегда. Живешь в своем мире. И потому пишешь так хорошо. И не стрижешься!

Она взъерошила ему волосы.

– Прости меня, – тихо сказал критик. – Прости.

– За что? – Поэтесса отстранилась от него.

Он стоял напротив нее, слегка сгорбившись, и, заметив это, выпрямился.

– За то, что часто тебя не замечаю. Не помогаю. Не поддерживаю.

– Да брось. – Поэтесса сняла обувь, убрала ее в небольшой шкафчик у входа, прошла на кухню и поставила сумку с вещами на стул. – Ого, ты все тут помыл!

– Да, пока тебя не было. – Критик пошел за ней. – Скажи, все в порядке?

– Да. – Поэтесса озадаченно взглянула на него. – Меня только беспокоит, что ты ничего не помнишь.

– Да, я напился тогда хорошо... Прости.

Он отложил книгу на тумбочку.

Поэтесса слегка улыбнулась, и критик понял, что его слова прозвучали искренне.

– Это что, Омар Хайям? – Она подошла к нему и взяла книгу в руки.

– Да... – Он смотрел, как она рассеянно листает книгу.

– Ты был так мил вчера. – Поэтесса положила томик обратно на тумбочку. – Но я за тебя испугалась. Меня удивило, что за нашим столиком сидел Митя, а тебя там не было.

– Митя? Колобок, что ли?

– Да, Митя Беспалый. Мы с ним работаем вместе.

– Он в тебя влюблен.

– Да, я знаю.

Критик снял очки, бросил их рядом с томиком Хайяма. Обнял поэтессу. Поцеловал. Почувствовал тепло ее губ. Аромат ее духов. И, сквозь запахи улицы и долгой дороги, уловил ее запах. Запах чистого тела после душа, тщательно вымытых волос, духов с цветочно-зеленым ароматом. Именно ее запах.

– Ты меня вправду испугал. – Поэтесса тоже его обняла. – Тебя не было. Митя сидел пьяный и ничего не мог толком сказать. А я была уставшей, так как прошла в полуфинал, потом читатели подходили, мы фотографировались... А тебя я так и не нашла. Спустилась по лестнице вниз, вышла на улицу. Ты стоял у фонарного столба, но свет на тебя не лился. Ты был

окружен тьмой, прижимал к уху телефон, звонил кому-то. Я окликнула тебя, подошла, ты обернулся и не узнал меня. И говорил почему-то по-итальянски, а я же была здесь, перед тобой...

Критик молчал. Ему было стыдно. Но за стыдом кротко пряталось счастье.

– Ты голодна? – спросил он.

– Да! – уверенно ответила поэтесса.

– Давай тогда я все разогрею...

– А я пока переоденусь. – Она взяла чемодан и ушла в спальню.

Критик слишком поздно сообразил, что надо было ей помочь. Выругавшись про себя, он, привычно сощурился, начал искать очки, не в силах вспомнить, где их оставил.

Критик разогрел еду с третьей попытки – сначала показалось, что еда недостаточно горячая, потом не хотелось начинать без поэтессы. Когда она вернулась на кухню, он поставил разогреваться еду в четвертый раз и, воспользовавшись паузой, спросил:

– Ты будешь вино?

И, не дав поэтессе ответить, сразу добавил:

– Я не буду. – Критик снова открыл холодильник. – Мне уже хватит. Я вот чай пью. А ты с дороги, тебе надо развеяться... – Он показал ей бутылку. – Вино хорошее, из Пьемонта. Я там жил недолго, в Турине, после Рима. Ну, ты помнишь.

Критик не стал добавлять, что он встретил итальянку как раз в Турине. Он вообще никому про нее не рассказывал.

– Помню, – загадочно сказала поэтесса, будто она с ним действительно была в столице Пьемонта. – Давай.

Критик открыл буфет, взял в руки бокал и штопор. Потом, открыв вино, наполнил бокал. Поднес его поэтессе, дал попробовать, убедился, что ей понравилось, и вернул вино в холодильник.

Из спальни раздалась приглушенная музыка.

– Это у тебя звонит? – спросил критик.

– Нет... – Поэтесса слегка возмутилась. – Я же сказала, что у меня телефон сел.

– Точно... – Критик прислушался. Пел Виктор Цой, требовал, чтобы критик проснулся и пошел, а точнее побежал.

– Это твой... Я принесу.

Поэтесса отодвинула в сторону бокал и ушла в их комнату. Критик, поколебавшись, быстро, но аккуратно, чтобы поэтесса не услышала звона стекла, достал бутылку из холодильника, при-



ложился губами к горлышку и сделал небольшой глоток. Вино было очень вкусное, и он, несмотря на доводы рассудка, сделал глоток побольше. Когда поэтесса вернулась на кухню со смартфоном в руке, он негромко хлопнул дверцей холодильника.

– Это тебя, – спокойно сказала поэтесса.  
Номер был незнакомый. Критик цокнул языком и поднес трубку в уху.

– Э-э-э, д-доброе утро, – раздался неуверенный голос. – Мм, прошу прощения, что так нагло вел себя вчера, я поздно понял, что пришел не вовремя...

– Чего? – радостно почти крикнул критик. – Колобок, ты, что ли?

– Колобок?

– Ну этот, Митя, Беспалый. Как дела?

– Мм, хорошо, в-вот...

– Спасибо за вино! Мы его как раз попробовали. Чудесное.

– Очень рад... Вот, извиниться хотел...

– Да ты что! Это ты извини. Сам не знаю, что со мной творится. Заходи в гости как-нибудь...

После, когда они доели вчерашние макароны с котлетами, критик, макнув в остатки соуса кусочек хлеба, спросил, есть ли у поэтессы планы на вечер.

– Нет. – Поэтесса допила вино и отодвинула его в сторону. Казалось, будто она ждала этого вопроса.

– Давай сходим в театр?

– Давай! – Поэтесса легонько хлопнула в ладоши и сразу как будто вернулась в детство. – Давно не были. А на что?

– «Кошка на раскаленной крыше». – Критик довольно улыбался. – Ты любишь эту пьесу.

– Ух ты! Конечно! Только... – Она посмотрела на наручные часы. – Уже три. Когда спектакль?

– В семь.

– Не поздно ли?

– Нет. – Критик пытался говорить как можно равнодушнее. – Я уже взял билеты. Позвонил вчера, когда работал, нам отложили парочку.

На миг захотелось сказать: «Когда писал стихи». Но только на миг.

Поэтесса улыбнулась. Критик смущенно отвел взгляд. Пальцами он едва заметно потрогал кольцо, лежавшее в кармане джинсов.

Критик посмотрел ей в глаза – и увидел, что не только он один в эти дни всерьез думал об их отношениях. Каждый размышлял, что делать дальше. И как знать, не прочитай он Омара Хайяма, ле-

жавшего сейчас на тумбочке, пришла бы она? Он слабо верил в то, что мир – это матрица, где все не происходит согласно своим законам, а исключительно служит тому, чтобы ты сделал какие-то выводы и вырос как личность. Сейчас, всего лишь на миг, критик почувствовал, что, возможно, так оно и есть. Пора расти. словно хлебный колос. Или гроздь винограда. Или одиночество в душе.

Он поднялся со стула, подошел к поэтессе, сел рядом с ней. Взял ее за правую руку, посмотрел на безымянный палец и вдруг испугался, что кольцо ей не подойдет. Сердце, как всегда, куснула старая подруга – тревога-крыса. Оно быстро забилося. Ток-ток. Ток-ток.

– То есть ты все знал. – Поэтесса внимательно на него смотрела, улыбаясь.

– Нет, я ничего не знал. – Критик вновь посмотрел поэтессе в глаза, не в силах решить, доставать кольцо из кармана или нет. – Просто надеялся.

